

ЮРИЙ ПАВЛОВ

ЮРИЙ СЕЛЕЗНЁВ: ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЭПОХИ

Многие статьи и все книги Юрия Селезнёва были событием в критике 70–80-х годов XX века, вызывали жаркие и долгие споры, эхо которых периодически звучит и в последние два десятилетия. Селезнёв, ссылаясь на традицию народного мировосприятия, писал: “Человек жив, пока жива память о нём”. И сегодня у нас есть все основания утверждать, что через 24 года после физической смерти Юрия Селезнёва он жив.

Уникальность критика проявляется уже в следующем. Последнюю прижизненную его книгу “Василий Белов” (М., 1983) отделяют от первой “Вечное движение” (М., 1976) только семь лет. Да и весь творческий путь Селезнёва – от статьи “Зачем жеребёнку колёсики?” (“Молодая гвардия”, 1973, № 8), принёсшей первую известность, до ранней смерти 16 июня 1984 года – составляет неполных 11 лет. И за такой короткий промежуток времени Юрий Иванович Селезнёв стал одним из лучших “правых” критиков, редакторов, одним из самых стойких и отважных бойцов за русское дело. В центре нашего внимания будут человеческие и творческие качества критика, которые обусловили и явили феномен Селезнёва. Начнём с эпизода, ставшего в судьбе критика ключевым.

В 1970 году Юрий Селезнёв, преподаватель русского языка для иностранных студентов, мечтавший о научной работе, приезжает из Краснодара в Москву на “разведку”. Приезжает наобум, ибо даже не знает, к кому можно обратиться за помощью. Первоначальный выбор пал на Льва Аннинского.

Сей факт, думаю, свидетельствует о неосведомлённости Селезнёва в нюансах литературной борьбы, в том, какую позицию занимает конкретный автор. Но это отнюдь не означает, что правы те, кто видел в Селезнёве невежественного провинциала, окультурившегося в Москве...

Во-первых, по воспоминаниям однокурсников и друзей Юрия Ивановича (Александра Федорченко, Бориса Солдатова, Михаила Эбзеева и других), он ещё в годы обучения на историко-филологическом факультете выделялся среди студентов обширнейшими и разносторонними знаниями, полемическим даром, умением вести на равных литературный разговор с преподавателями факультета. Михаил Эбзеев, например, приводит эпизод, когда доцент Всеволод Альбертович Михельсон, специалист по русской литературе и критике XIX века, в споре с Селезнёвым о Белинском вынужден был признать правоту студента и свою фактическую ошибку, на которую тот указал (“Родная Кубань”, 2007, № 2).

Во-вторых, известные статьи и книги критика могли появиться только на почве, подготовленной всей предыдущей, краснодарской жизнью. И вообще большое, если не решающее, значение в подобных случаях имеет то, чьими глазами увиден Селезнёв. О его завистливых недоброжелателях и врагах речь впереди. Из многочисленных свидетельств друзей, соратников, знакомых и просто объективных людей приведу высказывание Валерия Сергеева, автора

книги “Андрей Рублёв”: “Прекрасно знавший русскую, да и не только русскую литературу, серьёзный специалист по Достоевскому, он чувствовал себя “дома” и во многих других областях культуры. Люди, близко с ним общавшиеся, помнят о его обширных, иногда неожиданных, познаниях в области русской истории, фольклора, о его интересе к старой и новой живописи, музыке, к отдельным проблемам археологии, лингвистики” (Сергеев В. Сердечный поклон // В кн.: Селезнёв Ю. Память созидаящая. – Краснодар, 1987).

И всё же, несмотря на сказанное, трудно предположить, как бы сложилась судьба Юрия Селезнёва, если бы в свой первый приезд в Москву он не встретил Вадима Кожинова. Будем благодарны Льву Аннинскому за то, что он правильно оценил ситуацию, безошибочно понял, кто нужен кубанскому филологу, и направил его к Кожинову.

Об огромной – положительной – роли Вадима Валериановича в жизни Селезнёва сказано много и справедливо. Не буду повторять общеизвестное и сразу обращусь к первой книге Юрия Ивановича “Вечное движение”. Она – своеобразная точка отсчёта, дающая представление о том, с чего начинал Селезнёв-критик.

Не вызывает сомнений, что “Вечное движение” – первая книга автора. Очевидна разнокачественность её глав: следы профессионального ученичества видны в некоторых из них. Однако глава о творчестве Василия Белова “Современность традиции” написана на уровне зрелых работ Селезнёва и лучшей критики 70-х годов.

Сразу бросается в глаза и то, что в данной книге отсутствуют ссылки на классиков марксизма-ленинизма, Леонида Брежнева, партийные документы и т. д. Это, несомненно, отличало её от работ подавляющего числа критиков, литературоведов, публицистов разных направлений.

На идеологические “проколы” книги Ю. Селезнёва указал в статье “Пolemические маргиналии” Юрий Суровцев, один из “неистовых ревнителей” марксистско-ленинской идеологии того периода. Он в разделе с говорящим названием “Жажду осознанной идеологичности” указывает, в частности, на следующие “уязвимые” места в книге Юрия Селезнёва: “. . . Эта трактовка, столь бесспорная по первому впечатлению, “незаметно” лишается классово-идеологической определённости”; “к тому же – что это за списки литературных героев, в которых опять-таки пропадает реальное духовно-идеологическое различие между ними?”; “внеисторичность, абстрактность подобных критических построений Ю. Селезнёва становится особенно очевидной” (“Вопросы литературы”, 1979, № 12). С Юрием Суровцевым всё давно понятно, и комментарии к его высказываниям излишни. Гораздо труднее разобраться в оценках книги уже иного, постсоветского времени, в которых расстановка идеологических акцентов, на первый взгляд, не вызывает сомнений, но она – плод фантазии и произвола.

Через 23 года после выхода в свет книги Юрия Селезнёва Вадим Кожинов в статье “Судилище. . .” сообщил интересный факт, сопроводив его своим комментарием. Альберт Беляев, гонитель “русской партии” от ЦК КПСС, получил экземпляр книги Селезнёва, в котором, по словам Кожинова, “были жирно подчёркнуты определения “советский” и “русский”, при этом становилось очевидным, что первый эпитет относился к чуждым автору писателям, а второй – к любезным ему. . . Нынче можно спорить о правомочности этого “разграничения”, но тогда, четверть века назад, оно было по-своему оправданно” (“Москва”, 1999, № 1).

Я, не раз читавший эту книгу Селезнёва, не обратил внимания на указанную закономерность употребления слов “русский” и “советский”. К тому же, подобное “разграничение” во многом созвучно моему видению вопроса. . .

Однако на самом деле в книге “Вечное движение” не только нет противопоставления понятий “русский” – “советский”, но и “советский” (логическое определение, названное почему-то Кожиновым эпитетом) встречается предельно редко, не более пяти раз на 236 страницах. Главное же – “советский” не несёт у Селезнёва того отрицательного смысла, о котором говорит Кожинов.

Например, в главе “Словом всё делается” данное определение употребляется единственный раз в таком контексте: “идуший от истоков основоположника советской литературы – Максима Горького”. В главе “В одно сердце с людьми”, где творчество Виктора Лихоносова сравнивается с чуждыми Ю. Селезнёву авторами “исповедальной прозы”, слово “советский” отсутст-

вует вообще. Лишь в главе “Слово живое и мёртвое” “советский”, казалось бы, несёт ту смысловую нагрузку, о которой писал Кожин. В этой главе Селезнёв приводит примеры необоснованного употребления иностранных слов в цитатах из произведений (авторы которых не называются) и делает вывод: “Все эти слова извлечены не из специально-научных сочинений, а из произведений советских писателей”. Версия Кожина сработала бы в данном случае, если бы не контекст, не предыдущее предложение, из которого следует, что советская литература – “наша литература”.

Итак, тех смысловых акцентов, о которых писал Вадим Валерианович, в книге Юрия Селезнёва нет. Но в ней есть всё то, что позволило начинающему автору в кратчайший срок стать одним из лучших “правых” критиков.

Независимость и смелость суждений – одно из главных качеств Юрия Селезнёва. В “Вечном движении” оно проявляется по-разному. Во-первых, по отношению к писателям – героям книги. Наиболее показательна глава “Грани народного характера”. В ней на протяжении почти 30 страниц говорится о серьёзных творческих неудачах таких разных авторов, как Владимир Солоухин, Владимир Тендряков, Борис Васильев, Анатолий Липатов, Иван Рыжов, Иван Зубенко. Прочитываю лишь высказывание о “правом” прозаике, в то время почти классике, Владимире Солоухине: “К сожалению, именно элементы туристического взгляда на серьёзные вопросы времени стали преобладать в “Букете хризантем”, “Бутылке старого вина”, “Обеде за границей” и, наконец, стали господствующими в повести “Прекрасная Адыгене” (“Наш современник”, 1973, № 8, 9).

Автор её полагает почему-то, что его личные заботы о том, как бы убавить килограммы, продлить свою жизнь и т. п., должны вызывать по меньшей мере сочувствие и расположение читателей”.

В других главах “тотальной” критике подвергается лишь Даниил Гранин (“Словом всё делается”) и “исповедальная проза” (“Жизнь на пороге”). Отдельные же неудачи, художественные просчёты Юрий Селезнёв находит у Валентина Распутина (“Мужество добра”), Евгения Носова (“Со мною на земле...”), Василя Быкова (“Быть человеком”), Андрея Битова (“Жизнь на пороге”).

Итак, далеко не каждый критик, тем более начинающий, отважился бы на такое отношение к известным писателям, преимущественно авторам первого ряда. Нетипичным выглядело и несоблюдение правил литературной борьбы. Это проявилось также в полемике с Аллой Марченко, Владимиром Кардиным, Маризтой Чудаковой, Владимиром Камяновым, Владимиром Вороновым, Феликсом Кузнецовым, Анатолием Ланщиковым, Виктором Чалмаевым и другими критиками.

Подобная творческая и человеческая независимость была не только не в чести, но и по-разному порицалась, а то и преследовалась большинством участников событий с обеих сторон. Например, 27 декабря 1977 года Игорь Дедков (который в то время лавировал между “правыми” и “левыми”, душой, идеями принадлежал к “левым”) записывает в дневнике: “Кажется, восстанавливаются наши отношения с Оскоцким” (Дедков И. Дневник. 1953–1994. – М., 2005). Поводов же к охлаждению, как сообщает Дедков, было два. Один из них – “несколько сочувственных слов о Селезнёве” в письме к Валентину Оскоцкому. Как видим, даже эпистолярное, никому не известное нарушение правил вело к серьёзным последствиям. Что же говорить о статьях, книгах, публичных выступлениях?

Вновь подчеркну: суть в данном случае не в Валентине Оскоцком, одном из самых неистовых “левых” русофобов последней трети XX века. Реакция “справа”, реакция “своих”, была, по сути, аналогичной. Поэтому закономерно, что позиция Юрия Селезнёва, его критика, невзирая на лица и принадлежность к литературным партиям, породили немало завистников, недоброжелателей, врагов. Они и люди просто недалёкие выдумали разные нелепые мифы, один из которых (самый устойчивый): Юрий Селезнёв – это плохая копия Вадима Кожина и Петра Палиевского.

Что это совсем не так, легко убедиться на примере даже первой книги критика. Достаточно хотя бы сравнить статьи Селезнёва о Битове (“Жизнь на пороге”) и Белове (“Современность традиции”) со статьями Кожина об этих авторах “Современность искусства и ответственность человека”, “Голос автора и голоса персонажей. “Привычное дело” В. Белова” (см. в книге: Кожин

нов В. Статьи о современной литературе. — М., 1982). Любой непредвзятый читатель увидит разное толкование одних и тех же произведений названных авторов. Для меня очевидно, что статья Кожина о “Привычном деле” значительно слабее статьи Селезнёва о Белове, а работа Вадима Валериановича о Битове профессиональнее и содержательнее работы Юрия Ивановича об этом прозаике.

Что же касается Петра Палиевского, то книга “Вечное движение” даёт возможность провести следующую параллель. В главе “Слово живое и мёртвое” Юрий Селезнёв трижды ссылается на статью Палиевского “Мировое значение М. Шолохова”. Она вместе с работой “К понятию гения” была особенно популярна у “правых” в 70–80-е годы, а их автор виделся многим одним из главных теоретиков, идеологов “русской партии”, её “серым кардиналом”.

В названной статье Селезнёв в своих рассуждениях о гуманизме и народности, на первый взгляд, идёт вслед за Палиевским. Но если прочитать обе работы внимательно, то станет очевидным, что Селезнёв вступает в скрытую полемику с признанным “правым” автором.

Думаю, не случайно Юрий Иванович опускает одну из центральных идей Петра Васильевича: Михаил Шолохов “прервал традицию” русской классической литературы. Эта идея дважды иллюстрируется на примере сравнения с Пушкиным. Чтобы избежать упреков в вольном пересказе, неточном толковании принципиальнейших суждений Палиевского, процитирую их: “И наконец, у Шолохова впервые явилась сама масса, поднимающая других. Как будто литература, достигнув “дна”, качнулась и пошла наверх, увлекая за собой то, чего не видели и вседостигающие “пушкинские лучи”; “Пушкин её (трудно понять, то ли “меру беспощадности”, то ли “железную пургу”. — Ю. П.) предвидел, но видеть не хотел <...> С неоспоримым знанием народа он (Шолохов. — Ю. П.) увидел бунт самый беспощадный, но не в бессмыслице, а в ясно различимом историческом мировом смысле. Это действительно нечто новое и беспримерное. Собственно, это единственная пока точка зрения — не заявленная, а предъявленная — вышедшая за пределы, очерченные в литературе Пушкиным, и её можно принимать за начало нового художественного мировоззрения”.

В этих рассуждениях литературоведа узнаётся хорошо знакомая идея о неполноценности русских классиков по сравнению с советскими авторами, вооружёнными единственно верным учением, которое и позволяет им достичь немислимых даже для Пушкина мировоззренческих и творческих высот.

Только у Петра Васильевича эта идея выражается не столь примитивно-грубо, как у многих его предшественников и современников, и круг новаторов сужен до одного Михаила Шолохова, и стиль статьи почти одический, и какая изыщная игра слов... Только грустно, как грустно...

В главе “Слово живое и мёртвое” Юрий Селезнёв, первоначально следуя за Петром Палиевским, на главном этапе своих размышлений вступает в незримую полемику с ним. В творчестве Шолохова критик увидел не разрыв с классической традицией, а продолжение её. О месте Пушкина в данном контексте сказано принципиально иначе, чем у Палиевского, сказано предельно точно: “Итак, шолоховское начало — в Пушкине, там же, где начало Достоевского и всей русской литературы. А само это пушкинское — в началах народного мироотношения”.

Так, размышляя о Пушкине, Шолохове, Пришвине, Юрий Селезнёв естественно выходит на проблему народности. Она — ключевая во всём его творчестве, и символично, что последняя книга критика, “Глазами народа” (М., 1986), полностью посвящена проблеме народности и национальной мысли в русской литературе. В первой же книге расставлены некоторые основные акценты в трактовке вопроса, а современная проза (“традиционная школа” в первую очередь) и отечественная словесность разных веков оцениваются автором с позиций народности.

Показательно одно из ударных мест “Вечного движения”, отмеченное авторским клеймом Селезнёва-критика. В первой главе “Словом всё делается” он приводит большую цитату из Максима Горького, которая заканчивается словами: “...Храм русского искусства строен нами при молчаливой помощи народа, народ вдохновлял нас, любите его”. Далее Селезнёв, справедливо поправляя “буревестника революции”, формулирует одну из своих заветных идей, которая, обретая различные смысловые обертоны, пройдёт через его

творчество: “Но народ был не только молчаливым вдохновителем храма русского искусства, он был истинным героем литературы, её нравственным центром. Дело не в том, сколько представителей народа стало героем того или иного романа, а в том, что все без исключения герои времени оценивались писателями только по тому, как их жизнь соотносилась с жизнью народной, с народными идеалами и устремлениями. Именно идеалы народные были тем последним судом, которым судили русские писатели своих героев”.

И эта постоянная приверженность народности сближает Селезнёва не с традиционно называемыми Вадимом Кожинным и Петром Палиевским, а с Михаилом Лобановым, который ещё в 60-е годы возвёл народность в ранг главного критерия в оценке литературы и жизни (об этом я подробно говорю в статье “Русский критик на передовой” – “Наш современник”, 2005, № 11). Работы Михаила Петровича Юрий Иванович цитирует на протяжении всего творчества, и главное – мысли Лобанова созвучно живут и органично развиваются в мире Селезнёва.

Ещё одна особенность, отличающая “Вечное движение” и последующие книги критика, – это частые параллели с русской и мировой классикой в разговоре о современной литературе. И всякий раз подобные сравнения к месту, они идейно и композиционно обусловлены и направлены прежде всего на то, чтобы определить, в какой системе идейно-эстетических координат работает тот или иной писатель. Вот только некоторые авторы, фигурирующие в этом контексте в первой книге: Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Тургенев, Тютчев, Достоевский, Л. Толстой, Есенин, Пришвин, Шекспир, Сервантес, Гёте. Весьма заметно, что Пушкин, Достоевский, Пришвин чаще всего цитируются Юрием Селезнёвым, они своеобразные маяки, с которыми критик сверяет правильность курса современной литературы.

В один год с “Вечным движением” была опубликована статья Селезнёва “Мифы и истины” (“Москва”, 1976, № 3) – отклик на книгу О. Сулейменова “Аз и Я” (Алма-Ата, 1975). Уже на рубеже 90-х на страницах центральных изданий залпом появились интервью казахского писателя “Аз и Я”. Судьбы книги” (“Правда”, 1989, № 285), “Возвращённая книга Олжаса Сулейменова” (“Юность”, 1991, № 11), “Послесловие к опальной книге” (“Литературная газета”, 1990, № 29). В них писатель озвучил свою версию событий. Согласно ей Сулейменов выступил “против лжеистории”, против “крупных имён, руководителей школ по изучению и переводу текстов “Слова о полку Игореве”. И как результат – травля книги в печати, изъятие её из библиотек, гибель под ножом части тиража.

Кому все эти строки адресованы? Доверчивому читателю, не владеющему информацией? Экзальтированным особам типа Новодворской, которые бьются в истерику от слов “Россия”, “империя” (а Сулейменов употребляет последнее слово неоднократно и в разных контекстах, но с одинаковым устремлением – негативным смыслом)?.. Не знаю.

Передо мной экземпляр “Аз и Я”, который я брал в библиотеке в конце 70-х годов, взял его и сейчас. Версию про нож не комментирую. Что же касается травли в печати, то это была естественная полемика вокруг столь неординарной книги. И закономерно, что одним из первых на выход “Аз и Я” отреагировал Юрий Селезнёв, чью статью Сулейменов назвал “оскорбительной”.

“Мифы и истины”, на мой взгляд, – одна из лучших работ критика, в которой он продемонстрировал всю свою интеллектуальную мощь, блистательный талант полемиста, здоровое национальное чувство. Юрий Иванович относит книгу Олжаса Сулейменова к мифотворчеству и указывает на её отличительные черты: полужапы вместо фактов, видимость аргументации, сознательная тенденциозность. Для критика основным было понять природу ошибок автора “Аз и Я”, главную идею книги, под которую подгоняется вся система доказательств.

В итоге Селезнёв пришёл к следующему выводу: история развития человечества, по Сулейменову, – это “цепь последовательных заимствований различными народами достижений Главного (еврейского. – Ю. П.) народа”. Критик обращает внимание, что только в этом единственном случае автор книги использует заглавную букву, а также именует Главный народ “избранным народом”. Применительно же к истории создания “Слова...” данная концепция трансформируется так: древние русичи, характеризующиеся Сулейменовым как “дикие жители лесных чащоб”, культурные и прочие достижения получили от кочевников, а те, в свою очередь, – от евреев.

В таком контексте вопрос, который, по версии Сулейменова, был задан ему в доверительной беседе в ЦК КПСС: “Это правда, что у тебя мама – бухарская еврейка?” – выглядел во многом ожидаемым. Объяснение подобным теориям, в первую очередь, ищут в происхождении либо в осознанном или неосознанном шабесгойстве...

Меня больше удивил ответ на прозвучавший вопрос (О. Сулейменов, по его словам, “не заглядывал в паспорт матери”) и комментарий к нему, сделанный через годы: “Видите, как всё просто – любое инакомыслие объясняется составом крови” (“Юность”, 1991, № 11). Удивил комментарий потому, что автор “АЗ и Я” постоянно применяет такой “кровяной” подход в своей книге. Юрий Селезнёв не раз говорит об этом в статье и так, например, передаёт одну из ключевых идей Сулейменова: “Вы говорите “храбрые”, “мудрые”, “образованные” русские князья, – подбирается к главному автор книги “АЗ и Я”, – естественно, ведь в жилах... Игоря и Всеволода течёт *добрая струя* (курсив мой. – Ю. С.) кипчакской крови”. Именно она “придаёт особый вкус и смысл древнерусской народности”.

Критик, комментируя такие изыскания, подчёркивает, что Олжас Сулейменов постоянно противопоставляет “славянское” – “тюркскому” и почти не говорит о мирных, трудовых, культурных отношениях славян и тюрков, об их совместных военных успехах. Можно добавить, что и через 15 лет после выхода книги ничего не изменилось в этом “пункте” во взглядах казахского писателя. Он в интервью “Возвращённая книга Олжаса Сулейменова” так показательно, либерально-примитивно, в высшей степени односторонне размышляет о нашей уже близкой истории: “Русский язык приходил на окраины с Пушкиным и с пушками, не как культурное явление в чистом виде, но вместе с имперской колониальной системой” (“Юность”, 1991, № 11).

Юрий Селезнёв указывает на многочисленные фактические ошибки разной направленности в книге Сулейменова – от этнологических до языковедческих. Например, критик напоминает автору “АЗ и Я”, занятому подсчётами процента половецкой крови в славянах, что “сами половцы по своему происхождению динлинский, то есть европейский, но значительно тюркизированный народ”. В этом и в других случаях Юрий Селезнёв ссылается на работы Михаила Артамонова, Бориса Рыбакова, Льва Гумилёва и других историков. И отталкиваясь от высказывания Льва Гумилёва о тюрках как понятии чисто лингвистическом, критик ставит под сомнение и подход автора “АЗ и Я” к тюркам как к расовому единству.

Олжас Сулейменов якобы сокрушает имперские научные предрассудки и на уровне происхождения слов. Один из главных его посылов звучит так: “Семиты приносят знак, название и значение в славянские культуры. Но славянские общества к тому времени ещё не готовы к восприятию столь отвлечённой идеи”. Поэтому от слова Ра-иль (где Ра – Бог) “коллективные мышечные потуги бородатых методов” смогли породить лишь слова роса, рябина, радуга, работа, раб и другие.

Юрий Селезнёв через историю народов и языка доказывает абсурдность версии Олжаса Сулейменова. Критик, в частности, утверждает: “Интересно, изменилось бы что-нибудь в многозначительной концепции Сулейменова, если бы он знал, по крайней мере, что, скажем, древнерусское “раб” (работа и т. д.) никакого отношения ни к израильскому, ни к египетскому Ра не имеет, даже и по форме, ибо произошло от древнеславянского, более того, – индоевропейского корня *orbъ* (орбота – работа, орб – раб)? Думаю, что нет”.

Книга Сулейменова была не раз переиздана, статья Селезнёва не вошла ни в один сборник критика, и при нынешней системе хранения журналов в библиотеках практически недоступна читателю.

1976 год стал знаменательным в судьбе Юрия Ивановича Селезнёва и тем, что он после долгих мытарств нашёл-таки работу по душе. Именно в редакции “ЖЗЛ” Селезнёв реализовал себя как русский подвижник, несгибаемый боец, делатель.

Друзья, коллеги, состоявшиеся и несостоявшиеся авторы “ЖЗЛ” (Юрий Лощиц, Вадим Кожин, Сергей Лыкошин, Игорь Золотусский, Олег Коротаев, Валерий Сергеев, Виктор Калугин, Виктор Лихоносов, Александр Федорченко, Владислав Попов и другие) оставили воспоминания, по которым легко можно воссоздать жизнь Юрия Селезнёва в “молодогвардейское” почти что пятилетие. Оно отмечено прежде всего титаническим трудом и, по словам Ва-

дима Кожина, “непрерывным горением”, “жизнью на пределе” (Кожин В. Первая встреча // В кн.: Селезнёв Ю. Память созидающая. — Краснодар, 1987).

Сам Юрий Селезнёв в сентябре 1980 года в письме к Виктору Лихоносову откровенно и относительно подробно повествует об этом периоде своей жизни. В целях экономии печатной площади приведу лишь отдельные отрывки из письма: “... Было, наверное, и что-то дельное: не случайно же книжки жеззловские сейчас до пены доводят кое-кого и расправы требуют, и немедленной, — значит, работают. А ведь в этих книгах и я есть, невидимо, но есть, я-то знаю: некоторые мною же задуманы, и авторов нашёл, и убедил их написать (и не бояться написать). Тратил время — не рабочее: на работе — встречи, мелочи, бумажки, и главное — бумажки, в день отвечаешь на двадцать-тридцать писем, на кучу жалоб, доносов и т. д., а дома, после работы, читал уже рукописи, редактировал, писал письма с советами и просьбами, чтобы ещё доработали. <...> А ведь хотелось ещё и самому что-то написать, но больше писал не оттого, что хотелось, а потому, что это было кому-то нужно: то ли судьба чьей-то книги решалась, а то и просто судьба — знаешь, часто от одной несчастной рецензии, от одного упоминания имени судьба решается и так и эдак. А для себя оставались вечера и ночи, свободные от работы, и спал по четыре-пять часов в сутки, а то и вовсе не ложился, пока силы были, и шёл на работу, снова в то же колесо: пробивал рукописи в издательстве, цензуре, ЦК и т. д. — как никогда не бился ни за одну свою вещь” (“Родная Кубань”, 1999, № 3).

В этой связи удивляют и, мягко говоря, возмущают облыжные оценки Юрия Селезнёва, встречающиеся у некоторых авторов. Всеволод Сахаров, например, в статье “О том, как я не написал книгу “Владимир Одоевский” для серии “ЖЗЛ” так характеризует Селезнёва: “Иногда мне казалось, что у этого просчитывающего каждый свой шаг человека вообще не могло быть истинных друзей, а тот способ, которым он спокойно избавился от мешавшей его карьере “старой” краснодарской семьи и передал её (семью, конечно, а не карьеру) своему подчинённому, и по сей день удивляет меня какой-то бальзаковской бессердечностью”; “ему (аспиранту Литинститута. — Ю. П.) надо было выбиться в люди номенклатуры и остаться в Москве, а это всегда стоило дорого” (http://archives.narod.ru/jzl_shrv.htm).

Всеволод Сахаров, называющий себя критиком и не забывающий при этом упомянуть о своих “докторской степени и академических званиях”, казалось бы, просто обязан руководствоваться хотя бы элементарной логикой и минимальными знаниями. Его злобные фантазии, в высшей степени несправедливые характеристики не выдерживают даже лёгкого дуновения критики.

Приведу факты, которые Всеволодом Сахаровым игнорируются и которые говорят сами за себя. После окончания аспирантуры в 1975 году у Селезнёва истёк срок временной московской прописки, а в неё, как известно, упиралось решение многих проблем, начиная с работы. Юрию Ивановичу, набиравшему известность критику, предложили написать статью “на заказ” для издательства. И Селезнёв, который одной этой статьёй мог сразу решить вопросы прописки и работы (такова была цена предложения), Селезнёв, по Сахарову, человек сверхпрактичный, отказался. Писать и поступать против совести Юрий Иванович не мог, не хотел и не научился в дальнейшем.

Непонятно, в чём проявились расчёт и бессердечность Селезнёва в “истории” с “краснодарской семьёй”. Юрий Иванович развёлся с Людмилой Власовой в сентябре 1977 года. Свою первую, кооперативную, квартиру, он купил в конце предыдущего года. Прожив в ней несколько месяцев, Селезнёв оставил её бывшей жене и дочери, а сам вновь оказался бездомным. О каком карьерном росте говорит Сахаров, если Юрий Иванович с момента развода и до своего ухода из “ЖЗЛ” в феврале 1981 года оставался на прежней должности. И главное — не Селезнёв “избавился” от семьи, а его жена “нашла себе другого”... О том, как он переживал этот неожиданный удар, смотрите, например, письмо Селезнёва к Олегу Коротаеву от 13 сентября 1977 года (Коротаев О. Когда душа с душою говорит... // В кн.: Селезнёв Ю. Память созидающая. — Краснодар, 1987) и дневниковую запись Владимира Крупина от 31 августа того же года (Крупин В. Выбранные места из дневников 70-х годов — “Наш современник”, 2004, № 5).

И наконец, сахаровский миф о Селезнёве, просчитывающем каждый свой шаг, опровергается деятельностью Юрия Ивановича на посту зав. редакцией

“ЖЗЛ”. Самохарактеристики Селезнёва из письма к Виктору Лихоносову подтверждаются его поступками и свидетельствами разных людей. Напомню лишь очевидное: то, что “Островский” Михаила Лобанова, “Гончаров” Юрия Лощица, “Гоголь” Игоря Золотусского были опубликованы в СССР, заслуга, в первую очередь, Юрия Селезнёва. Я процитирую показательное высказывание именно Игоря Золотусского.

Уже после смерти Юрия Ивановича Игорь Петрович вспоминал: “Против издания книги (“Гоголь”. – Ю. П.) были многие – начиная от редактора и кончая директором издательства. И если книга вышла, то это во многом заслуга Юрия Селезнёва. Ему грозило снятие с работы – не только из-за моей книги, но из-за той твёрдой позиции, которую он занимал – но он стоял насмерть. Дело было не в его личных симпатиях к тому или иному автору (в данном случае ко мне), а в том, что он придерживался с автором одних и тех же взглядов. Он был человек идейный, человек убеждённый.

<...> Как чист был взгляд его глаз, так чист он был в отношении своих пристрастий. И если он верил в какую-то идею или в какую-то книгу, он имел смелость сказать о своей вере на любом суде” (Золотусский И. О Юрии Селезнёве // В кн.: Селезнёв Ю. Память созидаящая. – Краснодар, 1987).

Одно из самых известных, цитируемых и вспоминаемых высказываний Юрия Селезнёва – это ставшая крылатой фраза о Третьей мировой войне. 21 декабря 1977 года состоялась дискуссия “Классика и мы”, в которой принимал участие и Селезнёв. В своём выступлении Юрий Иванович, в частности, сказал: “Но Третья мировая война идёт давно <...> Третья мировая война идёт при помощи гораздо более страшного оружия, чем атомная, или водородная, или даже нейтронная бомба. <...> И эти микробы, которые проникают к нам, те микробы, которые разрушают наше сознание, эти микробы гораздо более опасны, чем те, которые... против которых мы боремся в открытую.

<...> Классическая, в том числе и русская классическая литература, сегодня становится едва ли не одним из основных плацдармов, на которых разгорается эта Третья мировая идеологическая война. И здесь мира не может быть, его никогда не было в этой борьбе <...> эта мировая война должна стать нашей Великой Отечественной войной – за наши души, за нашу совесть, за наше будущее...” (“Москва”, 1990, № 3).

Конечно, осознание сущности этой “войны” пришло к Селезнёву не перед выступлением... Конечно, он понимал, что “Третья мировая // началась до Первой мировой” (Ю. Кузнецов). Вообще, “Третья мировая” – это вечная война Бога и дьявола, добра и зла... Применительно же к теме нашего разговора – это война денационализированной интеллигенции с русской государственностью, Церковью, традиционной системой ценностей, национальной культурой, литературой. Поэтому и не только поэтому вызывает улыбку нелепый комментарий Наталии Ивановой к выступлению Селезнёва, сделанный через много лет после дискуссии в статье “Возвращение к настоящему”: “Против кого же была объявлена эта “война”, с кем призывали ещё тринадцать лет тому назад, да и сегодня призывают воевать насмерть?” (“Знамя”, 1990, № 8).

Уточню ещё раз: война русской литературе была объявлена Белинским и Добролюбовым, Лениным и Луначарским, Маяковским и Бриками и их многочисленными сторонниками, последователями. “Правые” же были вынуждены отвечать на удары “левой опричнины”, которая не просто захватила страну, но полонила умы и души миллионов наших соотечественников. И книги “ЖЗЛ” “Гончаров”, “Островский”, “Гоголь”, “Державин”, “Андрей Рублёв” и другие были важной составляющей в этой борьбе против космополитического ига.

Юрий Лощиц, Михаил Лобанов, Игорь Золотусский (называю тех, чьи работы чаще всего ставились в вину Юрию Селезнёву как заведующему редакцией “ЖЗЛ”) утверждали последовательный и непоследовательный православный взгляд на историю России, Церковь, отдельные сословия (духовенство, дворянство, купечество), вели открытую и скрытую полемику с взглядами Белинского, Добролюбова, Писарева, Ленина и т. д., утверждали принципиально новый подход к творчеству Гончарова, Островского, Гоголя... Понятно, что эти книги вызвали шок и многочисленнейшие, длительнейшие, сверхрезкие нападки со стороны официальной и либеральной критики. Напомню лишь возмущённое название статьи профессора МГУ, автора вузовских учебников по

русской литературе и критике Василия Кулешова “А было ли “тёмное царство?”” (“Литературная газета”, 1980, 19 марта).

Всех этих кулешовых, суровцевых, дементьевых, николаевых и прочих канторов можно понять. В то время, когда Анатолий Гладилин, Василий Аксёнов, Владимир Войнович, Булат Окуджава в своих книгах в серии “Пламенные революционеры” воспевали Робеспьера, Пестеля, Красина, Фигнер — Лошиц, Лобанов, Золотусский изображали человека и время, оценивали литературных героев с позиций православной духовности. Естественно, что и идея революционного переустройства жизни ставилась под сомнение или открыто отвергалась, как, например, в книге Юрия Лошица.

Уже в самом начале её с иронией говорится о Великой французской революции, которая, как идея переустройства жизни, не принимается людьми, крестившими младенца Ваню Гончарова. Людьми “патриархально-консервативно-традиционного” склада. Об их мире, который русскими вырожденцами был назван “тёмным царством”, Юрий Лошиц пишет любовно-поэтично: “Им не казалось это (крестины ребенка. — Ю. П.) скучным, потому что они любили всё, что повторяется в жизни, что придаёт ей величавое достоинство, аромат устойчивости и неизменности. Этими повторениями жизнь как бы благословлялась для новой череды крестин и венчаний, отпеваний и поминок и опять крестин.

Их радовало, что так же поступали их отцы, и деды, и деды их дедов, и они были уверены, что так будет повторяться и всегда, до окончания веков. Жизнь цвела для них обрядами, и даже в самом грустном из обрядов была доля радости. Обряды были не только внутри церкви, но и за её оградой, на улице, в любом доме, в том, как здороваются друг с другом и как прощаются, как входят в жильё, как садятся за стол и встают из-за стола, какие кушанья готовят к определённому дню, к большим и малым праздникам... Обряд понимался как образ поведения. В конце концов, вся их жизнь была бесконечным обрядом, от которого они никогда не уставали”.

Кульминацией в нападках на Лобанова, Лошица, Золотусского стало обсуждение книг, выпущенных в “ЖЗЛ”, обсуждение, устроенное в стенах журнала “Вопросы литературы” и опубликованное в девятом номере за 1980 год. Многочисленные идеологические выводы В. Жданова, А. Дементьева, А. Анастасьева, П. Мовчана, И. Дзевекина звучали как политические обвинения, после которых следовало сделать соответствующие выводы.

Для тех, кто не читал, или подзабыл, или попал в плен многочисленных либеральных фантазеров, приведу в качестве иллюстрации высказывание Александра Дементьева. Его — потому, чтобы в очередной раз продемонстрировать идейно-эстетический уровень новомировского заместителя Александра Твардовского, из которого до сих пор некоторые авторы пытаются делать “литературоведа, ценного в научной среде” (Твардовская В. “А. Г. Дементьев против “Молодой гвардии”. “Вопросы литературы”, 2005, № 1). Итак, сотрудник ИМЛИ РАН им. М. Горького (куда Юрий Селезнёв, лучший специалист страны по творчеству Ф. М. Достоевского, не прошёл по конкурсу) в своём выступлении “Когда надо защищать хрестоматийные истины”, в частности, изрёк: “В. И. Ленин говорил, что статья Добролюбова о романе Гончарова “ударилась как молния”, что из разбора “Обломова” Добролюбов “сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе”. <...> Однако Лошиц не обратился и к ленинским суждениям об обломовщине, хотя они, конечно, заслуживали его внимания”; “Лошиц и Лобанов предпочитают женщин старого домостроевского склада (каюсь, я тоже. — Ю. П.). Как же не подивиться этому?”; “Совершенно неверно и утверждение Золотусского, что после возвращения из-за границы в конце своей жизни Белинский якобы “отходит от заключений своего “зальцбруннского письма”. Несомненно, более правы были Герцен, назвавший письмо Белинского “завещанием”, и Ленин, увидевший в письме Белинского итог его литературной деятельности”.

Конечно, при чтении материалов “круглого стола” в “Вопросах литературы” нужно учитывать “лепту”, которую внесла в выступления редакция журнала, учитывать то, о чём сообщал в письме к Александру Федорченко Юрий Селезнёв: “Мою статью порезали до неузнаваемости под предлогом, что — это-де, не они, а цензура, но я узнал, что цензура ни слова не тронула <...> Цензура, напротив, убрала из других статей такие обвинения, которые на нас полетели, после которых — “в Сибирь, в кандалы!” <...> и антисоветизм,

и антисемитизм, и “против Ленина”, и против революционных демократов (это-то осталось), и “нововеховцы” мы, и “диссиденты солженицынского толка” – в иных, более утончённых формах, конечно” (Цит. по Федорченко А. Подвижник и плоды беспамятства. – “Родная Кубань”, 2007, № 2).

Но даже в том виде, в котором опубликована статья Селезнёва, она производит очень сильное впечатление, прежде всего, умением критика стоять до конца, умением ответить ударом на удар. Например, тому же Александру Дементьеву не понравилась фраза из книги Олега Михайлова “Державин” о “довольно сладеньких стихах” Гейне, в ней он увидел проявление национализма. Селезнёв в этой связи замечает: “Ну, а вот, скажем, Белинский куда хуже – называл Гейне пигмеем по сравнению с Гёте. Заметьте: не в двух-трёх стихах (как в случае О. Михайлова. – Ю. П.), но весь Гейне... Представьте, какие грехи можно приписать Белинскому, следуя той же логике! Подобные методы способны далеко завести”.

Юрий Селезнёв убедительно оспаривает многие обвинения в адрес авторов “ЖЗЛ”, проверяя на прочность, анализируя факты и “фактики”, приводимые Дементьевым и компанией. Критик демонстрирует блестящее знание творчества Гончарова, Островского, Гоголя и “сопутствующей” литературы и критики. Признанные авторитеты-исследователи не выдерживают, трещат, рушатся под доводами селезнёвской критики.

Так, В. Жданову, который всю жизнь занимался изучением творчества А. Н. Островского, Юрий Иванович отвечает убедительно, подробно, по пунктам, и сомнений в его правоте не возникает. Приведу лишь один контраргумент Селезнёва: “В. Жданов, например, знает жизнь Островского до таких тонкостей, что может себе позволить упрекнуть Лобанова, описавшего вечер 1847 года, на котором драматург читал свою пьесу в присутствии Грановского: “...Источниками всё это не подтверждается”. Однако вполне х р е с т о м а т и й н ы й источник (он приводится в сноске. – Ю. П.) на стр. 527 не подтверждает отнюдь не М. Лобанова, а самого В. Жданова”. И далее приводится цитата из воспоминаний М. Садовского.

Конечно, следует сказать и о другом. Стремясь спасти “ЖЗЛ”, авторов, спасти такое нужное, уникальное дело, Юрий Селезнёв местами пытается сгладить углы, противоречия, соглашается с критикой Феликса Кузнецова, один раз цитирует Ленина... Но, как показало близкое будущее, это не могло. Вопрос по Селезнёву руководителю “ЖЗЛ” был, видимо, решён ещё до “круглого стола” в “Вопросах литературы”. Не случайно подборка материалов завершается статьёй И. Дзевекина “Несколько соображений общего характера”, направленной, в первую очередь, против Юрия Селезнёва и выдержанной в лучших погромных традициях рапповской и либеральной критики. Да и в заключительном слове – от редакции – говорилось о “позиции, занятой руководителем “ЖЗЛ” Ю. Селезнёвым”, как о позиции, “достойной сожаления”.

Но самые страшные удары судьбы и главные книги были у Юрия Ивановича Селезнёва ещё впереди.

В одном из последних интервью Вадим Кожин рассказал такую историю: когда Юрий Селезнёв заявил о своём желании писать дипломную работу о Достоевском, то последовал примечательный комментарий преподавателя: “Юра, что вы, о Достоевском пишут только евреи” (<http://pereplet.sai.msu.ru/text/BESEDA.htm>). У Селезнёва, как и большинства советских людей, мысль о национальности кого-либо даже не возникала, поэтому прозвучавшие слова стали для него неожиданным откровением. Что скрывается за данным откровением, Селезнёву ещё предстояло понять... А для этого необходимо было измениться самому.

Рост личности Селезнёва происходил под воздействием разных факторов, в первую очередь, под влиянием мира Достоевского. Об этом процессе Юрий Лошиц, – видимо, самый созвучный (душевно и идейно) Юрию Ивановичу современник – писал так: “Достоевский был судьбой Юрия Селезнёва, мощнейшим его жизненным притяжением, воздухом его духовного роста. Мне не приходилось встречать в нашей литературной среде писателя, на которого бы так глубоко воздействовала личность человека, о котором он пишет” (Лошиц Ю. И поймёшь иную жизнь... // Фёдор Достоевский. – М., 1997).

В книге “В мире Достоевского” (М., 1980), которая вместе с “Достоевским” (М., 1981) является духовным автопортретом Селезнёва, критик приво-

дит слова любимого писателя, обращённые к Костомарову: “Чтобы быть русским историком, нужно быть, прежде всего, русским. Вы... не русского духа...” Перефразируя это высказывание, можно утверждать: чтобы написать полноценную работу о Достоевском, нужно быть русским по духу.

Русским по духу Селезнёв становится в Москве, где приходит осознание: большинство евреев-достоевсковедов (Л. Гроссман, В. Шкловский, В. Кирпотин и многие другие) – по-разному уводят читателя от понимания личности и творчества русского гения. С ними, с их неприязнью к Достоевскому как к православному художнику и мыслителю, всё было ясно.

Ясно было и с такими русскими, как Максим Горький. Ещё Василий Розанов оценил его выступление против инсценировки романа Достоевского вполне точно: “Не русская душа говорит” (Розанов В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. – М., 1995). Таких русских с нерусской душой в XX веке было слишком много.

Об одном из них у нас с Юрием Ивановичем зашла речь в мае 1984 года. Тогда я и услышал: “Он – шабесгой”. По моей реакции Селезнёв понял, что я не знаю значения этого слова, и стал объяснять...

Почти через 20 лет после памятной встречи Елена Владимировна Ермилова, жена Кожина, говорила: “Вот за этим столом часто сидел Юра Селезнёв. Ему и Вадиму я рассказала о шабесгоях”. Во время первого замужества Елена Владимировна попала в ортодоксальную еврейскую семью, и её свёкор по субботам не брал в руки даже спички, приглашая русского соседа зажечь конфорку или колонку.

Среди же шабесгоев – неевреев, выполняющих еврейскую работу, – в мире литературы, думаю, следует различать шабесгоев бессознательных и шабесгоев сознательных. Например, когда тот же Кожин называет себя, до встречи с М. Бахтиным и чтения В. Розанова, шабесгоем, то, безусловно, речь идёт о шабесгойстве неосознанном; оно органично было привито Вадиму Валериановичу преподавателями в МГУ, друзьями, коллегами по ИМЛИ. И совсем другое дело, когда человек, исследователь литературы в частности, делает осознанный выбор, принимая определённый комплекс идей и жёсткие правила игры. Из шабесгоев-критиков назову тех, кто в разное время печатно реагировал на работы Селезнёва – это Александр Дементьев, Сергей Чупринин, Наталья Иванова, Игорь Виноградов, Василий Кулешов, Юрий Суворцов. С ними тоже всё понятно.

Во время работы над книгой о Достоевском одним из самых сложных для Юрия Ивановича, думаю, был вопрос: как быть с Михаилом Бахтиным. Он, открытый Вадимом Кожинным в начале 60-х годов и активно внедрявшийся им в сознание литературоведов и критиков, к концу 70-х годов стал очень популярен и у “правых”, и у “левых”. Однако в самом известном труде Бахтина “Проблемы поэтики Достоевского” (М., 1972) были заявлены подходы, идеи, не совместимые с миром великого писателя. И вполне понятно, что полемика с Михаилом Михайловичем означала и несогласие с Вадимом Валериановичем по вопросу для Селезнёва наиважнейшему. Это всё же его не остановило, и он первым среди современников осмелился на критику Бахтина, в очередной раз проявив сильный, независимый характер, полемический дар, талант исследователя.

В книге “В мире Достоевского” Бахтин цитируется семнадцать раз, а упоминается ещё чаще. Ни один из литературоведов не вызвал у Селезнёва столь пристального внимания и живого интереса.

Принципиальная полемика с Бахтиным начинается в главе “Что есть истина?”. Одно из ключевых мест главы – рассуждения Селезнёва об амбивалентности – термине, введённом Бахтиным и ставшем довольно популярным на рубеже 70–80-х годов. Многие исследователи сделали из амбивалентности универсальное понятие, искусственно привязываемое к любому явлению в литературе, что, по мнению автора “В мире Достоевского”, было несправедливо и непродуктивно. Он напоминает, что Михаил Бахтин говорил об амбивалентности в связи с определённым жанром и типом сознания. Главное же – художественный мир Достоевского, по Селезнёву, гораздо шире рамок амбивалентной действительности, и амбивалентность – лишь стадия на пути к “последнему слову”.

Определяющее значение имеют неоднократные уточнения критика: поллярные крайности у Достоевского неравноценны, они подчинены чему-то цен-

тральному, вне их находящемуся. Благодаря этому одно начало оценивается как высокое, другое – как низкое. Самосознание народа как целого и есть тот идейный, идеологический, стилевой центр в мире Достоевского, обеспечивающий постоянную и неизменную систему ценностей.

Формула “народ как целое”, используемая критиком неоднократно и в других публикациях, может восприниматься по-разному и вызывать справедливые вопросы. Понимая это, Юрий Селезнёв в главе “Слово воплощённое” данную формулу разъясняет. Вновь через полемику с Бахтиным – теперь о полифонизме.

Полифонизм, утверждает критик, не соответствует типу художественного мышления Достоевского, ибо в многоголосии нет места доминантному слову, определяющему иерархию голосов и ценностей. Селезнёв предлагает характеризовать мировоззрение и творчество писателя через соборность – высшее единство голосов героев, автора и мира. Таким образом, критик первым вводит соборность в литературоведческий и критический лексикон, вкладывая в это понятие истинный – христианский – смысл, к сожалению, не всегда чётко формулируемый.

Показательно, что уже в неподцензурные времена Вадим Кожинов и Юрий Сохряков в своих работах “Соборность лирики Тютчева” (“Наш современник”, 1993, № 12), “Благодатный дух соборности” (“Москва”, 1995, № 10) трактуют соборность не столь точно и содержательно, как Селезнёв, по-разному уходя от доминанты данного понятия – христианской любви, жертвенной любви к другим и Богу. Об этом подробно и доказательно написал Николай Крижановский в статье “Соборность в восприятии В. Кожинова и современного литературоведения” (См.: Кожинов В. Грех и святость русской истории. – М., 2006). Он справедливо обращает внимание и на то, что в книге Ивана Есаулова “Категория соборности в русской литературе” (Петрозаводск, 1995) работа Юрия Селезнёва вообще не упоминается. Данный факт вызывает у Крижановского такое предположение: “То ли И. Есаулов вовсе не имел сведений о книге <...>, то ли он сознательно не обращается к ней, чтобы не идти вслед за чьей бы то ни было концепцией”.

Думаю, главная причина умолчания труда Селезнёва в другом: положительно ссылаться на исследователя с твёрдо-негативной репутацией в мире космополитической и шабесгойской творческой интеллигенции – вольность непозволительная и непростительная. Видимо, поэтому и Татьяна Касаткина исключила Юрия Селезнёва из огромного числа авторов (от В. Шкловского и Л. Гроссмана до Б. Тарасова и М. Дунаева), цитируемых в её книге “О творщей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф. М. Достоевского как основа “реализма в высшем смысле” (М., 2004).

Итак, Селезнёв первым возвращает в достоевсковедение религиозный подход к творчеству писателя. Напомню, что в 60–70-е годы XX века Достоевский прочитывался исключительно с атеистических позиций. Так, в один год с книгой Юрия Ивановича выходит сборник статей Кирпотина “Мир Достоевского”. Приведу несколько характерных цитат из этого сборника: “Достоевский-художник, хотел он этого или не хотел, вскрыл иллюзорность религиозных обоснований братства”; “Мы не можем и не должны молчать, когда видим в произведениях Достоевского, особенно в его публицистике, мёртвое, хватающее живое”; “Оправдан он [Достоевский. – Ю. П.] и в общей с Белинским убеждённости, что идеал раньше всего восторжествует в России – на земле, в реальной действительности, а не в потустороннем мире, о котором лепечет религия”; “Но мы не принимаем христианского смирения, отказа от революционного насилия, проповедуемого Достоевским”.

Могут сказать, что Кирпотин – неудачный пример, ибо Валерий Яковлевич является представителем старшего поколения достоевсковедов. Однако возраст в данном случае не имеет никакого значения. Так, в те же годы молодой Юрий Карякин объяснял достижения писателя с аналогичных позиций: “Художник-реалист в Достоевском взял верх над верующим проповедником”. Эта версия, приводимая в главе “Возрождение...”, убедительно комментируется Селезнёвым: “...Разве же Достоевский как художник-реалист перестаёт быть проповедником? Ведь стоило бы раскрыть, или хотя бы попытаться раскрыть, тайну воплощения его проповеди в реалистически-художественном мире его романов...”. И далее критик переводит разговор в теоретическую, методологическую плоскость, так как подобное толкование было общим мес-

том в работах Б. Бурсова, В. Шкловского, В. Кирпотина, А. Мазуркевича и многих других: “Каким это чудом или алхимическим образом “реакционная”, “ложная”, “беспомощная идеология” <...> рождала бессмертные художественные творения?” Таким образом, Ю. Селезнёв, как и Ю. Ложиц, М. Лобанов, И. Золотусский, В. Кожин, Н. Скотов, популярному подходу “вопреки...” противопоставил версию “благодаря...”.

Ещё Владимир Соловьёв в “Трёх речах в память Достоевского” точно определил тот духовный перелом, который произошёл в Достоевском в Омском остроге: каторжане, худшие люди из народа, вернули писателю то, что отняли у него лучшие представители интеллигенции – веру в Бога. Начало этого перелома психологически тонко изображается в книге Селезнёва “Достоевский”, в главе с говорящим названием “Воскрешение из мёртвых”. Воспоминание о мужике Марее, о случае из детства, помогло писателю другими глазами посмотреть на собратьев по несчастью, обрести веру в народ, а затем и в его идеал – Христа. Годом раньше в книге “В мире Достоевского” Селезнёв подчёркнуто заострил внимание на последовательности событий, приведших Достоевского к Богу: “Не от религии к народу шёл писатель-мыслитель, а от веры в народ к принятию его – народной, по убеждению Достоевского, – веры”.

И в данном случае критик точен. В отличие от многих авторов, которые разводят в противоположные стороны веру народа и Православие или настаивают на ином порядке прихода Достоевского к Богу, Селезнёв следует за высказываниями писателя. В частности, за его ответом Градовскому: “Я его (народ. – Ю. П.) знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, Которого узнал в родительском доме ещё ребёнком и Которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в “европейского либерала”.

Если в “Достоевском” для Селезнёва было важным запечатлеть начало духовного воскрешения писателя, то в книге “В мире Достоевского” – результаты этого воскрешения. В главе “Лики единого мира (Достоевский и Лев Толстой)” разговор об отношении двух великих современников к Христу имеет вневременной характер: в конце концов, речь идёт о двух типах веры. Христос для Достоевского, по точному определению Селезнёва, это идеал, который нельзя “подправлять, приноравливать к своим целям. Напротив, свои цели необходимо поверять этим вековечно неизменным идеалом”. Позиция писателя характеризуется как позиция ученика, ощущающего себя “устаами, произносящими “слово Божье”.

Как всегда, Селезнёв стремится к максимальной доказательности, и в подтверждение своей версии приводит цитаты из Достоевского, в том числе такую: “...Если бы кто мне доказал, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной”. В недавней же публикации Василины Орловой “Признанные “большими” (“Завтра”, 2008, № 49) с удивлением прочитал такой “комплимент” Людмиле Сараскиной: “Её блистательные статьи о Достоевском, о том, например, что он предпочёл бы остаться без истины с Христом, чем с истиной без Христа, запомнились”. Остаётся сожалеть, что Орлова не знает более ранних по времени работ Селезнёва. Спишем это на молодость автора. Тем более, что незнание Василины Орловой не сравнимо с дремучим невежеством молодого Михаила Бойко. Он в статье “Страдательный залог” (“Литературная Россия”, 2007, № 1) сделал Аполлинарию Суслову второй женой великого писателя...

Ортодоксальная позиция Достоевского в вопросе веры принципиально отличается от позиции В. Соловьёва, Д. Мережковского, Н. Бердяева, Л. Толстого и других революционеров от религии разных мастей, стремившихся её усовершенствовать, осовременить. Селезнёв, по понятным причинам, говорит только о Льве Толстом, отношении которого к Христу верно определяет как отношение “сотоварища”, “соперника Бога по сотворчеству”.

И всё же периодически исследователь Достоевского отходит от единственно правильной, православной, позиции, сбиваясь именно на “реформаторские” высказывания. Это происходит, например, в последней главе “Слово воплощённое”, в рассуждениях о “ещё “неведомом миру” Христе как о революционно-утопической идее Достоевского. Думаю, в выражении писателя “неведомый миру Христос” смысловое ударение нужно делать не на первом, а на втором слове: Спаситель неведом не потому, что не существует, а потому, что в большей части мира, исповедующей католицизм и протестанство, Его понимание сильно извращено либо вовсе утрачено. Подлин-

ный лик Христов сохранился только в Православии, в русском народе, отсюда тот мессианский пафос Достоевского, о котором справедливо пишет Селезнёв, и не только он.

Оценки, даваемые Библии в книге “В мире Достоевского”, – свидетельство того, что её автор не до конца преодолел стереотипы своего времени. Михаил Лобанов в статье “Найти в человеке человека” называет позицию Селезнёва секулярной (Лобанов М. Страницы памятного. – М., 1988). Алексей Татаринов хотя и говорит: “Сейчас не будем рассматривать вопрос, прав или не прав Селезнёв в богословском плане” (“Наш современник”, 2008, № 7), – не оставляет сомнений, что он с ним не согласен в восприятии Ветхого Завета. Знаменателен тот вывод, к которому приходит Татаринов, вывод, с которым трудно не согласиться: “Селезнёв более религиозен (чем Кожин. – Ю. П.), даже учитывая только что сказанное о его трансформации теологического в народное и национальное”. Действительно, в целом позицию Юрия Селезнёва можно определить как непоследовательно религиозную, непоследовательно православную.

Различного же рода “трансформации”, “перегибы” или, наоборот, “лакуны” в книгах Селезнёва порождены не только особенностями его личности, мировоззрения, но и, естественно, временем (невозможностью сказать всё, что думаешь) и самим Достоевским. Например, Юрий Иванович много, последовательно и верно говорит об антибуржуазности творчества писателя. Символом же буржуазности, эгоцентрического сознания является, по Селезнёву, Ротшильд. В главе “Что есть истина?”, ссылаясь на “Былое и думы”, критик приводит историю, в которой Джеймс Ротшильд оказался сильнее, могущественнее Николая Романова. “Царь иудейский”, как называют его Герцен и Достоевский, победил и унизил русского царя.

Ротшильд для Селезнёва – духовный антипод Христа, князь “мира сего”, для которого главная ценность – деньги, он – “воплощение апокалиптического зверя”. Истоки “религии дьявола”, сионизма в том числе, критик видит в тех наставлениях еврейских пророков из Ветхого Завета, в которых утверждается национальный эгоцентризм “избранного народа”. Эти наставления, приводимые дословно и через косвенно-прямую речь, – выражение типа сознания, разрешающего различные преступления по отношению к другим народам, в том числе то, что можно назвать кровью по совести.

Например, применительно к Ротшильду приводится такая цитата в главе “Что есть истина?": “Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идёшь, чтоб овладеть ею”. А в главе “Слово воплощённое” Селезнёв обращает внимание на заключительные слова из псалма “При реках Вавилонских”: “Блажен, кто возьмёт и разобьёт младенцев твоих о камень!”

Те выводы, которые делает в этой связи Юрий Иванович, ожидаемы и неожиданны, вызывают согласие и несогласие. Самый радикальный из них таков: “И эта книга (Ветхий Завет. – Ю. П.), как это ни странно, до сих пор почитается верующими христианами “святой”, данной “от Бога”!..

Итак, в основе “священного” библейского мессианства, как видим, лежит политически экспансионистская идеология, провозглашающая один народ хозяином над всеми другими – рабами”.

Подобные мысли о Ветхом Завете критик высказывает неоднократно, прежде всего в статьях и книгах, в которых характеризуется “Слово о законе и благодати” митрополита Илариона. Конечно, Селезнёв не первым так трактует Ветхий Завет, он – один из многих...

На философию национального эгоцентризма делает главный упор и Достоевский в статье “Еврейский вопрос”, о чём автор “В мире Достоевского” наверняка знал, но не решался на неё сослаться. Думаю, в первую очередь, потому, что в Советском Союзе, к моменту написания работы Селезнёва, эта глава из “Дневника писателя” не была издана.

В ней Достоевский причину неприязни к евреям и одновременно истоки их редкой силы, живучести видит в вековечно-неизменной идее, которую он называет “государством в государстве” и поясняет её так: “... Отчуждённость и отчуждённость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна народная личность – еврей, а другие хоть есть, но всё равно надо считать, что как бы их и не существовало” (Достоев-

ский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 томах. – Т. 25. – Л., 1983). Этот и другие примеры из Достоевского, по различным причинам отсутствующие в книге Селезнёва, лишь дополнительно подтверждают правоту исследователя, то, что он вполне адекватно передаёт точку зрения писателя по данному вопросу.

Думаю, позиция Селезнёва укрепилась бы, если бы он, как и Достоевский, обратился к Талмуду. Трудно не заметить, что цитаты из Ветхого Завета, приводимые Селезнёвым, совпадают по смыслу с примером из Талмуда, на который ссылается автор “Еврейского вопроса”: “Выйди из народов и составь свою особь и знай, что с сих пор ты един у Бога, остальных истреби, или в рабство обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что всё покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своём не общайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами – всё равно, – верь всему тому, что тебе обещано, раз навсегда верь тому, что всё сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и ожидай, ожидай...”

И становится вполне понятно, почему А. Чубайс (и ему подобные современные Ротшильды) испытывает к Достоевскому “почти физическую ненависть” и желание разорвать писателя на части... И не вызывают удивления новые попытки дискредитировать великого писателя как человека. Смотрите, например, мерзкую главку “О гении и злодействе” в книге Вячеслава Пьецуха “Русская тема” (М., 2005), о которой я уже высказался (“Наш современник”, 2009, № 2).

Эгоцентрический тип сознания Селезнёв продолжает характеризовать в статье “Глазами народа” (1981), вошедшей в книгу “Мысль чувствующая и живая” (М., 1982). Критик обращается к эпохе Возрождения, которую отличают гуманистическое, антропоцентрическое сознание и эгоцентрический тип личности. Они – результат массового отпадения человека от Бога и разрыва с традиционными ценностями. Воплощение в жизни антропоцентрической, то есть неязыческой модели мира сопровождается резким падением нравственности, самыми изуверскими преступлениями, утратой чувства греха, разрешением крови по совести... – всем тем, что мы наблюдаем сегодня в России и большей части мира.

В итоге Селезнёв приходит к закономерному выводу: гуманизм (именуемый критиком по-разному: ренессансный, классический, буржуазный) не есть подлинное человеколюбие, это “общечеловеческий эгоизм, разделяющий мир на две неравноценные половины”: Я – цель и все остальные – средство, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Эти и им подобные мысли критика и через двадцать восемь лет не утратили своей актуальности, ибо очень многие из пишущей братии, учёных мужей пребывают до сих пор в плену нелепых представлений о гуманизме, антропоцентризме, плодя мёртворождённые статьи, книги, диссертации...

Проблема личности – ещё одна ключевая проблема, затрагиваемая в данной – программной – статье Селезнёва. Он справедливо уточняет, что эгоцентрическая личность есть не собственно личность, а индивид. Сию простую истину не понимают либеральные авторы, которые, подобно Григорию Померанцу, утверждают: “...Личность выше класса, выше партии, выше государства, выше народа, выше догматов веры. Над личностью только Бог, но и Бог – личность” (“Октябрь”, 1990, № 11). В противовес такому подходу Юрий Селезнёв справедливо заключает: личность “начинается не с самоутверждения, но – самоотдачи. При этом происходит как бы самоотречение, пожертвование своего Я ради другого. Но в том-то и “диалектика”: через такого рода отречение от индивидуалистического, эгоцентрического. Я человек из индивидуума перерождается в личность”.

Нетрудно заметить, что Селезнёв в понимании личности идёт вслед за православными мыслителями разных эпох, его высказывание “рифмуется”, в частности, со следующей дневниковой записью Ф. М. Достоевского: “Высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего “я” – это как бы уничтожить это “я”, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно”.

Эгоцентрической личности – идеалу европейской литературы – Юрий Иванович противопоставляет соборный тип личности – идеал русской литературы – тому, что мы сегодня называем христианским реализмом XIX–XX ве-

ков. Например, в очерке “Василий Белов” (М., 1983), в главе “Неведомая сила”, критик рассматривает соборный тип личности на примере Ивана Тимофеевича, героя рассказа “Весна”. Истоки подвижничества, духовной силы русского крестьянина, потерявшего в войну всё (трёх сыновей и жену), но привязанного к жизни обязанностью перед землёй, людьми, Родиной, Селезнёв видит в особенности народного сознания, эквивалентом которой является мудрость: “Помирать собрался – а рожь сей”. Особенность, несомненно, жертвенно-христианская.

В статье “Глазами народа” Селезнёв полемизирует и с Кожинным, чьё имя не называется. Данная полемика выводит нас на центральную проблему всего творчества Юрия Ивановича. Напомню – в нашумевшей статье “Русская литература и термин “критический реализм” (“Вопросы литературы”, 1978, № 9) Кожин в ряду многочисленных неожиданных и “революционных” идей высказывает такую: творчество Пушкина и позднего Гоголя следует относить к ренессансному реализму, типологической чертой которого является “относительное единство, равновесие нации, личности, государства”.

Уже исходя из того, что говорилось выше о понимании Ренессанса автором статьи “Глазами народа”, ясно: идея относительного единства для Селезнёва не приемлема. К тому же он убеждён: ренессансный гуманизм как тип европейского сознания не стал фактором русского народного сознания, высшим, идеальным выражением которого, как известно, был Пушкин. Отталкиваясь от его творчества как первоосновы “новой русской литературы”, критик утверждает, что отечественная классика – “воплощённое преодоление буржуазного гуманизма народностью”.

Народность – центральная тема в творчестве Юрия Селезнёва, о чём справедливо писали Владислав Попов, Виктор Калугин, Николай Кузин. Я коснусь одного аспекта этой большой и многогранной темы.

Умение оценить и изобразить человека и мир с позиций народа (того народа, следует уточнить, идеалом которого был Христос) отличает русскую классику XIX–XX веков. Современный же этап в развитии литературы Селезнёв определяет как “возрождение в народности и через народность”, связывая его с творчеством В. Белова, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Астафьева, В. Распутина, В. Лихоносова, В. Личутина... То есть, популярной тогда идее “усталости” деревенской прозы, транслируемой разными авторами, от Анатолия Бочарова до Виктора Чалмаева, критик противопоставил идею возрождения, при этом предложив называть деревенскую прозу нравственно-философской.

Из всех публикаций Селезнёва о писателях данного направления очерк “Василий Белов” – наиболее интересная, содержательная работа. В ней, анализируя “Кануны”, “Привычное дело”, “Лад”, “Весну”, цикл “Воспитание по доктору Споку” и другие произведения Белова, Селезнёв выразил своё предположение о “крестьянской вселенной”, вызвавшее резкое неприятие у “левых”. Игорь Клямкин, например, в одной из самых известных статей начала перестройки “Какая улица ведёт к храму?” (“Новый мир”, 1987, № 11), рассуждая об отечественной истории, вступил в прямую полемику с автором очерка “Василий Белов”.

Для Селезнёва главным в крестьянском мире был лад, устоявшиеся формы бытия народной жизни, подчинённые законам христианской нравственности, красоты, экономической целесообразности; деревня определяла сущность и “лицо” России, русского народа, культуры, литературы. Для Клямкина же патриархальное и полупатриархальное крестьянство – источник всех бед в истории XX века, ибо сознание сельских жителей якобы было добуржуазным, личностным, их интересы дальше околицы не простирались, и вообще они “живут, а не рассуждают о смысле жизни, о том, во имя чего и зачем”.

Очерк “Василий Белов” – это, по сути, непрекращающаяся и убедительная полемика Юрия Селезнёва с аналогичными взглядами на русское крестьянство. В целом же можно сказать, что всё творчество критика крестьяноцентрично, народоцентрично. Я понимаю: такие воззрения вызывали и вызывают смех и иронично-уничтожительные оценки у либерально мыслящей интеллигенции. Но это, как любят иные выражаться, их проблемы, добавлю – их неизлечимая болезнь.

Селезнёв же в подобных ситуациях всегда обращался “за помощью” к русской классике. Например, в статье “Ответственность (Критика как мировоззрение)” он напоминает: “Более ста лет назад, отвечая на <...> обвинения в идеализации народа, Достоевский писал: “Ведь грустно и смешно в самом

деле подумать, что не было б Арины Родионовны... так, может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? А что если и в самом деле не вздор?" Пушкину, мы знаем, было чему учиться у неграмотной женщины, Достоевскому – у мужика Марая, Толстому – у деревенского паренька Федьки..."

Юрий Селезнёв, в отличие от Клямкина и ему подобных "левых" космополитов, в отличие от многих "правых" – советских патриотов, жил в большом времени тысячелетней русской культуры и цивилизации вообще. Критик прекрасно понимал, что русскими не рождаются, а становятся. Становятся через приобщение к русской культуре, литературе, традиционным ценностям. Об этом Селезнёв, в частности, говорит в статье "Подвижники народной культуры", размышляя о судьбе Владимира Даля. Итогом же раздумий Юрия Ивановича об отечественной истории, литературе стала книга "Глазами народа", которая при его жизни была "зарезана" в издательстве, а вышла в свет лишь через два года после смерти критика.

Селезнёв не мог остаться равнодушным ни к глумлению над прахом национальных героев Пересвета и Осляби, ни к тому, что авторы этимологического словаря "забыли" включить в состав его такие слова, как Родина, Россия, Русь, русский, а авторы "Словаря современного русского литературного языка", удостоенные Ленинской премии, внедряли в сознание читателей норманнскую теорию о происхождении русских и русской государственности; в учебнике же для студентов исторических факультетов "История СССР с древнейших времён" из более тысячи страниц только четырнадцать уделено истории славянства. Об этих и им подобных явлениях Юрий Иванович с гневом писал в статьях "Подвижники народной культуры", "Златая цепь, или Опыт путешествия к первоистокам народной памяти".

В "Ответственности" Селезнёв подчёркивает, что назначение критики – созидательное, а "отрицание – лишь необходимый момент критического движения мысли". Юрием Ивановичем последовательно, на протяжении всей его короткой творческой жизни негативно оцениваются различные явления критики, литературоведения, современной поэзии и прозы, детской литературы, кинематографа, науки, жизни, не выдерживающие проверки традиционными народными ценностями, национальной классической словесностью и культурой. Особый резонанс вызвали следующие "отрицательные" статьи Селезнёва: "Душа подвига", "О чём спор? (О кинофильме "Как царь Пётр арапа женил")", "Ответственность (Критика как мировоззрение)", "Необходимость Достоевского".

Но всё же рамки слова-дела были для Юрия Ивановича узки, ему всегда хотелось и дела-слова, то есть редакторско-издательского дела. И журнал "Наш современник" после "ЖЗЛ", несомненно, был таким делом.

В мемуарах Сергея Викулова "Что написано пером..." ("Наш современник", 1996, № 9–12) глава XV посвящена Юрию Селезнёву, его деятельности на посту первого заместителя главного редактора "Нашего современника". Эта глава вызывает большое количество недоумённых вопросов и возражений. Озвучу некоторые из них.

Маловероятным, практически невозможным представляется то, что Викулов до прихода Селезнёва в журнал не знал о нём "ровным счётом ничего". В сие трудно поверить, ибо Юрий Иванович – не тёмная лошадка, а личность известная: его статьи, книги, деятельность в редакции "ЖЗЛ", как уже говорилось, вызвали бурную реакцию, широко обсуждались в печати, на писательских форумах, в кулуарах. Василий Белов, например, ещё осенью 1974 года сразу после похорон Василия Шукшина попросил, чтобы его познакомил с Селезнёвым. Сергей же Васильевич и в 1980 году о Юрии Ивановиче ничего не знал...

Не менее удивляет и то, что Викулов не помнит, кто рекомендовал ему Селезнёва в замы. На такую странность обратили внимание Вячеслав Огрызко ("Литературная Россия", 2005, № 47) и Александр Разумихин ("Литературная Россия", 2008, № 42). Учитывая известный механизм решения кадровых вопросов в то время, можно предполагать, что за перемещением Селезнёва из "ЖЗЛ" в "Наш современник" стоял Альберт Беляев. Этот русофоб планировал нанести двойной удар по центрам русского сопротивления: он хотел обезглавить "ЖЗЛ" и расколоть редакцию "Нашего современника". Версия же Сергея Викулова о тайном сговоре Беляева с Селезнёвым выглядит в высшей

степени необидительно. На её очевидную нелепость первыми указали Николай Кузин (“Наш современник”, 1997, № 3) и Вадим Кожин (“Москва”, 1999, № 11).

Вообще же изучать историю “Нашего современника” по XV главе мемуаров Викулова – занятие бесперспективное: сообщаемые факты и их интерпретация довольно часто не выдерживают элементарной проверки на прочность. Вот, скажем, Сергей Васильевич сообщает: Селезнёв с Устиновым пришли в журнал в ноябре-декабре 1980 года. Спустя месяц-два Устинов понял, что “редакция не его планида и надо “закругляться”... Подал заявление, ушёл. С Селезнёвым было сложнее...”

Однако я помню, что во время нашей первой встречи с Юрием Ивановичем в его кабинете “Нашего современника” в начале декабря 1981 года к нему заходил Валентин Устинов, ещё работник журнала. Согласно же мемуарам Викулова, Устинов уже с весны не трудился в “Нашем современнике”. Тогда почему на второй странице того же одиннадцатого номера Валентин Устинов значится как заместитель главного редактора журнала?..

Такие “провалы” в памяти Викулова вызваны, думаю, только одним: желанием подчеркнуть адекватность самооценки Устинова и неадекватность Селезнёва, который не понимал, что оказался, якобы, не на своём месте.

И своё выступление 7 декабря 1981 года Сергей Васильевич построил так, чтобы участники Секретариата пришли к выводу о некомпетентности Селезнёва-редактора. Викулов полностью отмежевался от одиннадцатого номера, который готовил к печати Юрий Иванович, заострив особое внимание на своём несогласии с Селезнёвым и с теми материалами, которые вызвали наибольшую критику. Викулов закончил своё выступление, как главный редактор, полностью полагающийся на коллективную мудрость Секретариата, который разберётся, кто и насколько виноват, как один из режиссёров спектакля, заранее знающий его финал.

Мысль о слабости Селезнёва, редактора одиннадцатого номера “Нашего современника”, звучала в подавляющем большинстве выступлений. Но в самой резкой и оскорбительной форме она была высказана Ф. Кузнецовым: “Убей меня Бог, но я никак не могу понять, как можно было подписать этот номер к печати, – не могу! Для этого нужно быть или колоссальным глупцом, или сумасшедшим”. И далее, как подobaет одному из главных партийных надсмотрщиков от литературы, Феликс Феодосьевич расставляет идеологически выверенные акценты: “Думаю, что критика в этом журнале страдает. <...> У меня впечатление, что в редакции не хватает марксистски серьёзно мыслящего критика, критика-профессионала, которому бы доверили публикации. Редакции нужно помочь, и прежде всего подобрать умно мыслящих и марксистски образованных людей”.

Понятно, что для такого бдительного “партийного контролёра”, как и для осторожных патриотов, подобных Ю. Бондареву и С. Викулову, Ю. Селезнёв был костью в горле, ибо являл новый тип и русского патриота, и редактора, и критика, и, наконец (а очень часто – в первую очередь), был ярче и талантливее их как личность.

Показателен в этом смысле и одиннадцатый номер “Нашего современника”, подготовленный Селезнёвым, и его выступление при обсуждении данного номера на Секретариате Союза писателей РСФСР. В обоих случаях Юрий Иванович проявил себя прежде всего как смелый человек и настоящий профессионал.

Он, поместив в один номер повесть В. Крупина “Сороковой день”, статьи В. Кожина, А. Ланщикова, С. Семанова, резко повысил общепринятый градус смелости, допустимую концентрацию взрывоопасных материалов в журнальной книжке. На это первым обратил внимание Александр Казинцев в статье “Наш современник” в борьбе за русское возрождение в 70–80-е годы”: “... Долгие годы разумной тактикой легальной печати считалось рассредоточение правдивых публикаций. Специально высчитывали: один номер, второй, третий – теперь снова можно сказать правду. Селезнёв презрел эту унизительную тактику” (“Наш современник”, 1992, № 2).

Глубоко символично, что в своём выступлении на Секретариате Юрий Иванович, нарушая принятые правила “игры”, бросает камень в огород ведущих патриотических журналов: “Молодой гвардии”, “Нашего современника”, “Москвы”. В них повесть Крупина “Живая вода” пролежала соответственно

шесть лет, два года и больше года и была отвергнута как “произведение, социально и идейно незначительное”.

Показательно и другое: Селезнёв ставит в пример редакторам названных журналов “Новый мир” – одного из главных оппонентов, – где “не и с п у г а л и с ь (разрядка моя. – Ю. П.) новизны этой повести, ни значимости поставленных там проблем”.

Нетипичное, точнее, вызывающее поведение Селезнёва было обусловлено не только его смелостью, но и, конечно, тем, что он был редактором новой формации, таких главных редакторов среди “правых” и “левых” ещё не было. Юрия Ивановича отличала широта взглядов, терпимость к инакомыслящим: понимание того, что альтернативная точка зрения должна прозвучать. Например, говоря о своих разногласиях с Вадимом Кожиновым, Селезнёв оценивает их как явление нормальное, необходимое и продуктивное в процессе познания истины. В отличие от Ю. Бондарева, С. Викулова, Ф. Кузнецова, В. Чивилихина, Н. Шундика и других выступавших, требовавших, по сути, единомыслия, Юрий Иванович свою позицию сформулировал принципиально иначе: “...Я целиком не согласен с его (Кожинова. – Ю. П.) статьёй. Это неважно, но почему же я должен был не публиковать эту статью? Почему? Только потому, что я лично с этой статьёй не согласен?”

Такая позиция, неприемлемая и сегодня для большинства редакторов, сотрудников журналов, газет, тогда воспринималась в диапазоне от “безумия” (Ф. Кузнецов) до “хитрой игры” (И. Дедков). О серьёзности разногласий между “правыми”, вышедших “наружу” благодаря Селезнёву, свидетельствует следующая дневниковая запись Сергея Семанова: “Споры вокруг Гумилёва и статьи Кожинова вызвали чудовищный раздрызг среди “наших”. Чивилихин полчаса задыхался, что Кожинов защищает Гумилёва <...> Естественно, что А. Кузьмин тоже осуждает Кожинова” (“Москва”, 1999, № 11).

Знаково и то, как достойно вёл себя на Секретариате “казнимый” Юрий Селезнёв. Напомню, что Владимир Крупин публично, на страницах “Литературной газеты”, покался, признал правоту критики в свой адрес. Более того, и через восемнадцать лет после этих событий он написал: “И перед Юрием Селезнёвым у меня нет ни в чём вины” (“Москва”, 1999, № 11). Невольно вспоминаются слова Владимира Бондаренко, сказанные по другому поводу: “Вот и идут молодые русские ребята куда угодно, только не в нашу богателю, где Владимир Крупин кому отмаливает грехи, кому нет, пряча свой партбилет под нательным крестом” (“День литературы”, 2005, № 8).

В отличие от кающегося Крупина, Юрий Селезнёв не признал правоту критики и ошибочность публикации “Сорокового дня”. Он поставил повесть в один ряд с произведениями, которые первоначально вызывают неприятие, а затем оцениваются по достоинству.

О выступлениях большинства участников позорного действия говорить не буду. Они проявили свою бесхребетность – кто слабость, кто истинную сущность, но все – шабесгойство. Уже на этом примере видно, почему в первую очередь потерпела поражение “русская партия”. Трусость, беспринципность, зависть, предательство “своих” и на Секретариате и – вообще в последние два с половиной года его жизни – вот что действовало на сердце Селезнёва гораздо сильнее, разрушительнее, чем удары и “происки” ненавистников России и русских. И это надо признать, хотя, конечно, гораздо спокойнее жить, веря в версию о стимулированном инфаркте, от которого якобы умер Юрий Иванович.

Селезнёв в книге “Достоевский” приводит слова своего любимого писателя, сказанные перед смертью жене: “Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда даже мысленно...” Думаю, эти слова мог произнести и сам Юрий Иванович, обращаясь к главной своей возлюбленной – русской литературе. Ей, как и России, Селезнёв, действительно, не изменял никогда. Он, один из самых ярких критиков, литературоведов, редакторов 70-х – первой половины 80-х годов, делал всё возможное и невозможное, чтобы та Третья мировая, о которой он говорил, не была проиграна. Он – герой и жертва этой войны... Борец за русское дело и всечеловек. Юрий Лощиц очень точно определил его сущность: “...Я немного видел в жизни людей, которые бы всем своим существом так устремлялись – без насилия над собой, легко и радостно – к идеалу человека” (Лощиц Ю. Стоило его увидеть однажды... // Селезнёв Ю. Память созидаящая. – Краснодар, 1987).

* * *

На сегодняшний день последняя публикации о Селезнёве – это воспоминания Александра Разумихина “Юрий Селезнёв: “Вредный цех” (“Литературная Россия”, 2008, № 42). Воспоминания, написанные с уважением и любовью к Юрию Ивановичу. Однако многие оценки и некоторые факты вызывают возражения. Прокомментирую лишь один фрагмент мемуаров.

По версии Разумихина, приход Селезнёва в “Наш современник” был встречен настороженно сотрудниками журнала, ибо “вносил осложнения в привычную редакторскую (нужно – редакционную. – Ю. П.) жизнь. Начальником становится молодой амбициозный писатель, получивший широкую известность своей книгой “Достоевский”. И о реакции одного из работников сказано следующее: “Совсем молодой Саша Казинцев – как я помню, очень боящийся, что у него с Селезнёвым ничего не получится, а вот с Викуловым очень даже”.

Но, во-первых, в момент прихода Юрия Ивановича в журнал книга “Достоевский” существовала только в планах издательства “Молодая гвардия”. Она была подписана к печати лишь четвёртого декабря 1981 года, то есть за три дня до Секретариата, после которого Селезнёва “ушли” из “Нашего современника”.

Во-вторых, Александр Казинцев не мог “очень бояться” Юрия Ивановича уже потому, что в тот момент в журнале не работал, а пришёл в “Наш современник” по приглашению именно Селезнёва.

В-третьих, личная неприязнь мемуариста к Казинцеву – это его право, но чувство Разумихина не должно подчинять себе, искажать реалии жизни и творчества конкретных людей. А одна из них такова: Александр Казинцев в своих публикациях разных лет неоднократно и последовательно, проникновенно и предельно точно, как никто из сотрудников “Нашего современника”, писал о Селезнёве. Полюбившимся мне портретом Юрия Ивановича в исполнении Казинцева я и закончу эту статью: “Человек удивительный. Замечательно красивый духовно и внешне. Бывают такие лица – мужество и благородство озаряют их изнутри. Он походил на воина Древней Руси. Высокий, подтянутый, со слегка откинутой назад головой, обрамленной густой кудрявой волной волос и аккуратной острой бородкой. И глаза – ясные, чуть прикрытые (как от степного солнца – он был родом с Кубани), устремлённые вдаль. Настоящий витязь в дозоре, озирающий рубежи родной земли.

Он и был витязем, русским защитником, заступником” (“Наш современник”, 1992, № 2).